

Диалектина Дмитриева

Воспоминания о родителях и о семье

Меня зовут Ина. По паспорту Диалектина.

Я родилась в 1927 году, 1 февраля, в семье Георгия Федоровича Дмитриева, профессора Института красной профессуры, где он заведовал кафедрой диалектического материализма (отсюда и мое имя Диалектина). Институт готовил кадры для высших эшелонов – ЦК и везде. Туда отбирали очень способных.

Мама – Ядвига Моника Серафимовна Дмитриева, была из польской шляхты, по материнской линии из рода Уейских, католичка, домохозяйка. Ее первый муж, тоже поляк, умер. У них с мамой осталась дочь Леокадия Ванда. Папа с мамой полюбили друг друга, это была очень сильная любовь. Они поженились, и папа удочерил Леокадию.

Нас было шесть человек детей. Мы рождались очень быстро, с разницей примерно в полтора года. Нас воспитывали в дворянских традициях – язык, музыка, танцы, рисование. Рисованием руководил папа. У нас у каждого была своя папка, в которую мы складывали наши рисунки. Когда приходили гости, мы обязательно читали стихи. Постоянно были музыкальные вечера. У мамы была приятельница Анна Петровна, которая закончила консерваторию. Сестра Леокадия обладала необыкновенно красивым голосом – колоратурное сопрано. Помню, как она исполняла песню Сольвейг. Она училась в институте, и когда выходила на перемену, ее все окружали: “Не пустим на занятия, пока не споешь *Сольвейг*”. И она начинала петь. Мама была очень музыкальная, с ее стороны все в роду музыканты. У многих из нас был абсолютный слух. И наш дед, которого я не видела, тоже, говорят, был необыкновенно талантлив по всем статьям. Это передалось – мама была такая же.

Наша семья жила на Остоженке, в преподавательских домах Института красной профессуры. Туда в 1936 году и пришли арестовывать папу. На одном из съездов партии папа сказал Сталину, что он неправильно, не по ленинским нормам формирует правительство – что нужно, чтобы там были не только профессиональные революционеры, но сто рабочих и крестьян. Сталину это очень не понравилось, и он взял его на зацепку. И, по-моему, в IX томе собрания

сочинений Сталин отвечает папе (конечно, не приводя папины слова). После этого в семье все время чувствовалось напряжение. Папа чувствовал, что его арестуют. Тогда все жили в напряжении и ждали, что пройдет день или другой, и тебя тоже могут взять. Папа очень часто приходил домой угнетенный, особенно перед Новым годом в 1935 году. Тогда только разрешили елку. Еще не было никаких игрушек. Были старинные книжки, по которым мы делали эти игрушки. Я помню, как папа принес какой-то пакет – в нем были груши, яблоки и такие маленькие конфетки. Говорит: “Сделайте гирлянды”. Но он был грустный-грустный, подавленный. Мое детское сердце очень почувствовало его трагическое душевное состояние.

Как-то весной мама с папой вернулись из театра. И ночью за папой пришли. Мы, конечно, спали, нас всех подняли, и начался так называемый шмон. Я запомнила только одно: у меня на полочке стояла игрушка, у нее был фартук с кармашком. Так они пошарили в этом фартуке, где лежали мои резиночки от чулок. Еще там стоял кувшинчик, они его тоже весь вытрясли – искали преступника.

Вместе с папой арестовали и мою сестру Леокадию. Ее обвинили в том, что она должна была подорвать Мавзолей, а папу – что он создал группировку убить Сталина. Сестре было 24 года. Она училась на втором курсе геологоразведочного института. Когда следователь ее допрашивал, чтобы она призналась в чем-то, она говорила: “Я не заплатила за танцы”. Она занималась танцами, не заплатила за два месяца и думала, что за это ее арестовали. Такое наивное было у нее представление.

Мы, дети, конечно, не понимали, что такое *арестовать*. Я думала, это все равно что взяли штраф. Тогда везде были объявления: нельзя курить – штраф три рубля. Я думала, *арестовать* – это то же самое. Утром проснулись, встали – конечно, везде валяются бумажки, все перепутано. Мама, наверное, поехала куда-то. Я не помню, чтоб мама в этот момент была с нами¹.

Через пять месяцев, 3 октября, папу расстреляли в Лефортовской тюрьме.

Маму тоже арестовали – за то, что не донесла на папу. Осудили на 10 лет. Она все время там кричала: “Отдайте мне моих детей!” С

¹ Скорее всего, ошибка памяти: по данным “Мемориала” Ядвига Дмитриева была арестована 4 апреля, Георгий Дмитриев – 14 мая, т.е. на тот момент мама уже была месяц под арестом.

ней были такие неистовые приступы: “Отдайте мне моего Толечку”! (Маленькому Толе тогда было три с половиной года). Но самое трагическое, что маму там убедили в том, будто папа – действительно преступник. Она умерла с этим. Это было отражено в ее письмах с Соловков, которые, к нашему сожалению, были выброшены женой моего брата. Этот момент был для нас просто страшный.

Мы остались так: четырнадцатилетняя Эня (Энергия) – она по возрасту не годилась ни в детский дом, ни в тюрьму, но по Лубянкам ее таскали; одиннадцатилетняя Мира (Владимира), девятилетняя я, семилетний Альдик (Руальд), и последний Толечка – три с половиной года, самый младший.

Вскоре к нам из Ленинграда приехала бабушка, папина мама. Папа был ее единственный сын, которого она безумно любила. Бабушка все время плакала и скоро ослепла – от слез, от всего. Ей было 72 года.

Нас оставили жить в той же квартире. У нас было четыре комнаты: папин кабинет, детская, мамина спальня и еще одна комнатка метров восемь, где жила няня. Потом (правда, не сразу) нам оставили только одну мамину спальню, а остальные комнаты забрали под детский сад, потому что у нас за стеной был детский сад Института красной профессуры.

Так мы прожили приблизительно полтора года. Мы, конечно, очень бедствовали. Мы полужили. Эня прибавила себе год, подделала что-то такое, и ее устроили на работу, по-моему, куда-то в парк Горького. Мы продавали папину библиотеку (шикарная была библиотека!), продали пианино.

Еще нас обворовывали. Приходили аферисты – мы же ничего не понимали. Воровала даже соседка со двора, которая дружила с моей сестрой. Забрала последние деньги. Трудно вспоминать это. Сейчас говорю, и внутри все трясется. Мы голодали. Есть хотели просто все время. Я помню, как мы нашли во дворе какой-то кусок сала, и бабушка на этом сале пожарила нам картошку. Эти моменты остались в моей памяти. Еще ели то, что бабушка приносила из студенческой столовой Института красной профессуры.

Мы основательно пооборвались. У меня оторвалась подошва от обуви, я ее привязывала веревками и так ходила в школу.

В один прекрасный день мы узнали, что скоро нас заберут в детский дом. А у нас внизу, в подвале жила тетя Матреша, очень бедная семья. И мы все четверо побежали к ней, говорим: “Теть Мат-

реш, спрячь нас”. У них был такой большой стол, она нам бросила какую-то овечью шкуру, мы туда забрались, как щенята, под этот стол. Но нас оттуда вытащили. Помню, что в этом участвовала даже Энина приятельница, потому что от нее этого требовали. Нас посадили в черную машину и повезли в Даниловский приемник, в Даниловскую детскую тюрьму.

Бабушка тоже поехала с нами. Была с нами, когда у нас брали отпечатки пальцев, писали фамилию, фотографировали в фас и в профиль – как преступников. Потом я попала в какую-то спальню, где все было абсолютно белым, и я впервые в жизни ощутила боль в сердце, совершенно мне непонятную. Наверное, подсознательно, подкорково было ощущение, что это большая беда.

Больше мы с бабушкой никогда не встретились. Сестра Эня осталась одна и отвезла бабушку в город Рогачев, в дом престарелых. Когда она ее там оставила, она шла лесом обратно и рыдала на весь лес. Просто даже криком. Там бабушка и умерла. Где ее могила – мы ничего не знаем. Канула.

В Даниловском приемнике нас периодически выводили гулять. Там был дядя Гриша, который выводил беспризорников, от которых нас отделял маленький заборчик, и они все время нас дразнили: “Троцкисты! Троцкисты!” А мы не знали, кто такие троцкисты. Помню, что выходил гулять Юра Тухачевский – племянник Тухачевского. Мы с сестрой Мирой тоже там гуляли.

Эне не давали нас навещать. Конечно, сбежать мы оттуда не могли, потому что все было забаррикадировано – детская тюрьма, иначе не назовешь.

А потом нас всех повезли на вокзал. На вокзале все стояли группками: малыши и там младший брат Толечка, потом наша группа, потом где-то там группа Миры и группа Альдика – я их уже даже и не видела. Помню, что Толечка сказал: “Мама уехала к Анне Петровне”. Это ее приятельница, пианистка. Когда у нас были музыкальные вечера, она играла все время. “...А папа пошел читать лекции”. Стоит такой маленький, ничего не понимает, рассказывает, что думает.

Нас распределили по разным детским домам. Когда сестра спросила, почему по разным, ей ответили: “Чтобы вы знать не знали друг друга”. Меня сначала привезли в Городец, где мне хотели поменять даже имя и возраст. Нас поместили в бывшем монашеском помещении на территории большого, очень богатого кладбища, где были захоронены балахнинские купцы. А с другой стороны

кладбища были малолетние преступники, колония. Нас разделяла только вот эта территория кладбища.

Я пробыла там год. Потом вдруг стала происходить удивительная вещь: за мной пришли и увезли меня в Муром к сестре Владимире, а маленького Толечку перевезли из Лукьяновска в Семенов и соединили с Альдиком. И мы таким образом соединились. Кто-то нас объединял. Кто-то сделал доброе дело, и мы до сих пор не знаем, кто это. Кто-то это делал очень тайно, очень тихо, но нас все-таки соединили.

Детский дом в Муроме показался мне гораздо крупнее, там было 170 детей. Человек семь – дети репрессированных. Когда началась война, появилось небольшое количество детей фронтовиков. Но в основном было очень много беспризорников. Однажды к нам привели малолетнюю проститутку. Мы все прибежали смотреть, что это такое за чудо, а она стояла и рассказывала какие-то гадости. Я была потрясена. Там шла бесконечная война между девочками и мальчиками. Они нас называли только *девки*, а мы их – *парни*. Они нас избивали. Там была шайка школьников второго класса и шайка немножко постарше. И был такой Ванька Рогожин, который был *царь*, и у него шпаны 36 человек. А у девочек была *царица* Лариса Усачева.

Многие сбегали из детского дома. Одна девочка, очень талантливая, ее звали Даша, здорово рисовала, сделала вывеску детского дома, причем совершенно как у зрелого художника. Она подписывалась под своими рисунками: “Толстикова Даша Дора, Т.Д.Д.”. Она покончила с собой – бросилась под поезд.

Я в детском доме тоже занималась – оформляла весь детский дом. Выпускала постоянные газеты, была главным редактором. Очень много работала. В военное время рисовала каких-то фашистов, рисунки брали на выставку. Вела изо- и хореографический кружок. Из детского дома сбежали многие воспитатели, потому что не было хлеба, мы недоедали. Второй класс, например, совершенно оголился – некому было вести, и меня поставили туда воспитателем. Я училась в 9 классе. Мне было 15-16 лет.

Бабушка присылала нам из Рогачева письма. Пара писем было нормальных, а потом она уже была в таком состоянии, что меня и сестру называла Манечка и Анечка. Так звали ее детей, которые умерли еще до ареста отца. Потом эти письма куда-то исчезли.

С братьями у нас не было никакой связи. Я переписывалась с сестрой Эней, которая осталась в Москве. Эня могла переписываться

со всеми. Она даже как-то приехала к нам со своим мужем, навестила. Мы были просто потрясены. Она показалась нам какой-то необыкновенной красавицей. Я помню, что сестра пошла в магазин и купила нам какие-то необыкновенные конфеты – шоколад, наполненный орехами. Я не могла это есть, положила под подушку, берегла как какую-то необыкновенную ценность. И она нас накормила в городской столовой. Потом мы побежали в сады, нарвали им в дорогу яблок. Через некоторое время Эня забрала к себе Владимиру (она прожила в детском доме три года). А меня хотела взять двоюродная сестра, но ей запретили.

Потом я получила письмо от Леокадии. Помню, я написала в ответ: “Ледя! Возьми меня к себе в тюрьму”. А она в тюрьме рыдала над этими моими просьбами: куда, как она меня может к себе взять?

Я прожила в детском доме шесть лет, до 1943-го года. Может быть, я бы там и дальше жила, закончила бы там десятилетку, но я удрала. Был какой-то фестиваль, конкурс, и Иосиф Ильич Слуцкер, известный балетмейстер, пригласил меня в профессиональный военный ансамбль, чтобы во время войны давать концерты по госпиталям, поскольку я хорошо умела петь и танцевать. Я подошла к воспитателям и сказала, что я включена в программу, и если я не поеду, то будет разрушение. Меня не пустили. Но мы вместе с Ирой Чередниченко собрались и удрали. Я сказала: “Искусство требует жертв”. У меня вообще был такой характер, я огрызалась, когда меня лишали чего-то.

Мы два месяца прогастролировали с ансамблем. Актеры относились к нам хорошо, бережливо. Вернулась, тут мне и предложили выкатиться из детского дома, что я с удовольствием и сделала. Говорю: “Давайте мне, пожалуйста, выпускные 50 рублей, которые мне полагаются, смену белья, платье, и все – я поеду домой”.

Я не знала, примут ли меня дома. Ведь сестру взяли, а меня нет – значит, я никому не нужна. Было такое подспудное, подкорковое ощущение, что я никому не нужна. И это до сих пор гвоздем сидит во мне – не как обида, а просто понимание, что человек рождается один и умирает, в общем-то, один.

Короче говоря, я стала добираться до Петушков. В поношенном пальто и в босоножках, а был декабрь-месяц! Мне 16 лет, у меня уже был паспорт – муромский, и я не имела права жить в Москве. По дороге ко мне примкнула еще какая-то девочка, у которой тоже был не московский паспорт. Нас ссадили с поезда, и повели к директору вокзала. Он, конечно, запретил нам дальше свой путь. Я

так рыдала! Я ему говорю, что через год, через два все равно буду в Москве, это моя родина. Он, по-видимому, был человек с сердцем, потому что просто нас отпустил. Мы сидим, плачем. А в это время едет состав с солдатами, и вдруг ребята говорят: “Девочки, что вы там плачете? Садитесь, мы вас довезем до Москвы”.

Когда я приехала в Москву, было уже темно. А сестра ничего не знала. Дошла я до квартиры, стучусь, думаю: “Если меня сейчас не примут, пойду в ФЗО²”. Соседка кричит: “Мира! Сестра твоя приехала!” У нас тембр голоса был очень похож. Захожу. Внутри темнота – все занавешено, потому что ждали бомбежек, это 43-й год. Сестра радуется, говорит: “А Эни нет”. (Эня в это время поехала стирать белье у своего мужа). И вдруг из темного угла на меня набрасывается какая-то маленькая обезьянка! А это Альдюха – худенький-худенький, совершенно истощенный брат. В 14 лет он был такой маленький, потому что в Семенове перенес туберкулез открытой формы. Целует меня!

Оказалось, он пришел переночевать к сестре. Как он туда попал? Был конкурс на лучший рисунок по Советскому Союзу. Он написал композицию *Красные коники* и попал в число первых. Его сразу же приняли в школу высокоодаренных детей, которую возглавлял Иогансон. И так он из Семенова оказался в Москве. Альдик там жил в интернате, потом закончил экстерном десятилетку и попал в Суриковский институт на живописное отделение. Он был очень талантлив. Очень хорошо рисовал. У нас в семье абсолютно все рисуют: дед рисовал, отец рисовал, и наши потомки все способные очень.

Сестра приехала домой: пожалуйста, сюрприз – там еще я. Шестнадцатилетняя девчонка без прописки. Боялись доносов соседей, и я пряталась в двустворчатый шкаф, который стоял углом, и за углом было всякое барахло, железная печка. Я пряталась туда, и все время боялась, что печка загремит, когда придет милиция.

А где был младший Толечка, мы не знали – он исчез, куда-то пропал. Они с Альдиком жили в детском доме в Семенове, когда Альдик попал в школу высокоодаренных детей, Толя остался там один. И он сбежал, беспризорничал, даже попал в какую-то шайку, но, в силу своих нравственных качеств, не мог воровать, и его все эти мелкие жулики прозвали *аристократом*. Его только держали на

² Школа фабрично-заводского обучения – низший тип профессионально-технической школы в СССР.

шухере. Они ездили по вагонам везде. Господи, несчастный. Так мне его жалко.

И вдруг в один прекрасный день... Помню, я варила какое-то зерно. Оно не жевалось, было как резина. Мы предварительно выбрали оттуда червей. Ну, вот такое было. Вдруг к нам стучит какой-то мальчишка и говорит: "Там внизу ваш брат". Мы все рванулись, побежали туда, а он от нас как деранул! Одичал. Потом все-таки пришел к нам, и сестра стала заботиться о том, чтобы его устроить. Она его устроила в школу альфрейных работ. Ему тогда было 12 лет. А он – самый настоящий художник, по своему складу, по всему. Удивительный дар. Он был очень талантлив, причем просто поразительно, мог все. Но от него ничего не осталось, кроме автопортрета, который хранился у Эни. Великолепно написано. Он писал из окна Богоявленский собор, пейзажи, и потом выбрасывал свои рисунки. У него был талант во всех направлениях, вплоть до того, что он мог себе шить, делать модели. У нас у всех это было. Это не хвастовство, это действительно так было – одаренные родители передали свои таланты. Не всегда ведь это бывает.

Мы с сестрой жили вдвоем в комнате 24 квадратных метра. Я училась, меня приняли сразу на второй курс архитектурно-строительного техникума. Голодали, стипендия-то была маленькая. Эня нас все время подкармливала, хотя ей самой трудно жилось. Руальд жил в интернате и приходил к нам. Потом Толечка каким-то образом прописался у тетки Мани, маминой сестры. Но не жил там, а мотался по общежитиям и все такое прочее. Тетка вообще-то была суровая и никого не принимала, не щадила.

Так во время войны мы объединились – Эня, Владимира, я, Руальд и Толя.

А Ледя все еще была на Колыме. После восьми лет заключения – Суздальская тюрьма, потом Соловки, потом Якутия – она должна была десять лет жить на поселении в поселке Усть-Омчуг под Магаданом, не имела права никуда ехать. И там она встретила отсидевшего свой срок Эрнста Вайсенберга. Его родителей сожгли в Германии, и он был приговорен там к смертной казни. Ему устроили побег. А здесь он был заведующим стоматологической клиникой, его посадили и написали ему ПШ – подозрение в шпионаже. Сестра попала к нему на лечение с цингой. Он влюбился в нее, и потом там родился мой племянник. Потом настало время и дали указ, чтобы распустить всех заключенных. Сестра Леокадия с 39-м

паспортом³ приехала к нам. Ледя боялась даже перейти улицу, она говорила: “Дай мне свой профсоюзный билет”. У нее была близорукость, она говорила: “Вдруг я не там выйду, пойду через дорогу, и меня арестуют”.

Мы очень долго не знали, что и отец, и мама расстреляны. Я все время мечтала, что если бы моя мамочка ко мне вернулась, я бы мыла каждый кусочек ее тела, ухаживала бы за ней. У меня было такое чувство, оно меня преследовало все время – чтобы мама вернулась. А потом нам врали, что мама умерла от диабета, папа – от чего-то еще. Все время врали. Только в 1997 году мы узнали, что мама была расстреляна в Карелии, в Сандармохе в 1937 году.

Когда Леокадия сидела на Соловках, она случайно повстречалась там с мамой. Они встретились на прогулке и попросили разрешения вместе ходить в уборную и в баню. Когда маму вывозили на расстрел, она проходила мимо камеры, где сидела сестра. И мама покашляла – дала ей знак, что все. Простилась с ней.



Диалектина Дмитриева. Фото из личного архива Диалектины.

³ Отметка в паспорте о запрете проживания в 39 городах СССР.



Ядвига Серафимовна Дмитриева. Фото из личного архива.



Георгий Федорович Дмитриев Фото из личного архива.



Ядвига Серафимовна Дмитриева. Фото из следственного дела.



Георгий Федорович Дмитриев. Фото из следственного дела.



Георгий Федорович Дмитриев. Фото из следственного дела.